

ФОРРЕСТ РЕЙД



БОЖЕСТВО САДА

ПЕРЕВОД ОЛЬГИ КАВЕЦКОЙ

ФОРРЕСТ РЕЙД

БОЖЕСТВО САДА

Перевод: Ольга Кавецкая



Тверь
2014

Рейд Ф.

Божество сада / Пер. с англ. Ольга Кавецкая. – Тверь, Копи-Принт, 2014. – 84 с.

Форрест Рейд (24 июня 1875 г. – 4 января 1947 г.) – ирландский писатель, литературный критик, переводчик.

В повести «Божество сада» рассказывается о встрече юного героя с образом, созданным его воображением и долгое время являвшимся его единственным другом. Впервые это произведение было опубликовано в 1905 году ограниченным тиражом, однако не осталось без внимания и получило одобрительные отзывы.

Ольга Кавецкая (родилась в 1987 г.) – поэт, писатель, переводчик, историк, автор шести книг.

ISBN 978-5-9905042-4-0

© Ольга Кавецкая, перевод, оформление, макет, 2014 г.

Единственный друг

«Счастливейшими часами» своей жизни называл Форрест Рейд свои мечты о мальчике, увиденном в шестнадцать лет в одном саду близ моря. Настоящего мальчика, несостоявшегося друга, заменил его образ – тот спасительный всепонимающий образ, что возникает из губительного одиночества.

Без друга нет жизни для того, кто наделен редчайшим и труднейшим даром – любить. Существование становится только мучительным усилием быть – в надежде, что впереди ждет равный, а все существо превращается в один неумолчный зов «Брат мой!» И он откликается – единственный, кто слышит этот зов в людской пустыне: друг из грезы. Он приходит, как отблеск иного света на лезвии боли и на миг одаряет томительной радостью – ощущением Жизни. О нем эта книга.

Ольга Кавецкая

30 июня 2014 г.

I

«Мой дорогой Эллингам, – писал он, – было очень мило с твоей стороны обратиться в этот отдаленный уголок мира не по иной причине как с целью возобновить нашу дружбу, и я прошу тебя, чтобы между твоим обещанием и его исполнением прошло столь мало времени, насколько это возможно. Я считаю твою идею не только чудесной, но и воистину смелой, ибо встреча, по прошествии стольких лет, является чем-то очень серьезным, как прыжок в темноту. Я надеюсь (наверное, следовало бы сказать «боюсь»), что ты не найдешь во мне никаких необычайных изменений. В самом деле, с этой минуты я полностью отдаюсь на твою милость и признаюсь виновным во всех тех вещах, на которые ты указываешь в своем письме. Совершенно верно, что живя здесь, как отшельник (отшельник, спешу заметить, в смысле Эпикура и Анатоля Франса), я ни в коей мере не исполнил свой долг доброго гражданина. Несомненно (как ты осторожно намекаешь), мне следовало бы жениться, но даже ты согласишься, что теперь мне слишком поздно следовать твоему превосходному примеру. Я не могу – увы! – даже притязать на то,

что хочу следовать ему, что хочу покинуть свою пустынь. О, мой дорогой друг, я неисправим, и тебе не стоит надеяться обнаружить в Грэхаме Иддеслее средних лет личность более удовлетворяющую, чем та, которую ты нашел столь неудовлетворяющей в Оксфорде. Помнишь, каким я был в старое время? Лишенным здравого смысла, непрактичным, совсем несостоящим человеком! И вообще, помнишь ли ты старое время? Ну конечно же, ты должен помнить его, иначе не пожелал бы вернуть! Для меня же это огромная милость, основное занятие в моей жизни: я имею в виду воспоминания. Предполагаю, что ты едва ли будешь рад узнать об этом, пока со временем не станешь терпимее к праздности – к той слабости, в которой ты осторожно упрекаешь меня в письме. Но ты должен простить меня за этот недостаток, равно как и за бесчисленные остальные. Да, я помню!.. Иногда я помню слишком много!.. Помню то, чего не было в действительности – то, что (увы!) только могло быть. Видишь ли, разделяющая линия может так легко сместиться, стать тусклее по мере того, как проходят годы... Как бы то ни было, это лишь своего рода кошачья привычка, появившаяся у меня и заставляющая, как кот, спокойно греться на солнце или перед камином, мечтая, блуждая в бескрайних лесах Персефона. Над его деревьями сгущается тихий сумрачный свет, и мягкие тенистые тропы

вываются вокруг, встречаясь и пересекая одна другую, чтобы вновь затеряться в прохладной лиственной дали.

Тем не менее, бывали времена (мгновения невероятного себялюбия: разреши назвать их так), когда я говорил себе то, что ты любезно пишешь мне: если бы я был рожден сыном бедняка, то мог бы сделать что-нибудь в своей жизни, но что именно – я, как и ты, не могу определить. О нет, боюсь, что все мои дарования могли бы свестись к одной-единственной способности греться на солнце – способности, которая не представляет особой ценности для других, какое бы удовольствие ни приносила мне. Предполагаю, что если бы я жил во времена Платона, он мог бы поручить мне подметать дорожки Академии, косить траву или выполнять что-либо подобное. Возможно, он даже сделал бы меня полезным, проиллюстрировав мною доктрину воспоминания, как тем мальчиком в «Мено». Или же я мог бы заботиться о книгах.

Последнее – несомненно, ибо я испытываю глубинную любовь к самой паутине, укрывающей углы библиотек. Прошлым вечером я провел несколько восхитительных часов, осматривая свои тома, снимая их один за другим с полок и медленно листая их страницы. Многие из них (вероятно, даже большинство, ибо мои вкусы изменились незначительно) я любил в отрочестве, и над такими книгами я за-

держивался дольше всего. Перелистывать их страницы в свете того темного рассвета было все равно что держать лампу для прошлого. Мягкая, легкая пыль давних лет рассеивалась вокруг меня, наполняя воздух, – тонкая, сладкая, печальная пыль.

О, удивительное семя поэзии! Счастливо то дитя, в нежную душу которого ты падаешь при рождении! Если бы он мог сохранить до самой смерти невинность и сущность мальчика!.. Если бы груз лет и забот мог легко лечь на его плечи!..

Он отложил перо и повернулся к окну, с улыбкой чуть печальной, но по-особенному мягкой и нежной.

Что ж! Он полагал, что годы действительно легко легли на его плечи. Если бы он посмотрел в зеркало, то увидел бы, что его волосы тронуты сединой, плечи слегка сутулы, и линии пролегли возле губ и глаз. А его жизнь? Она тоже, вероятно, уже приобрела серый оттенок. Однообразная? О да, в самом деле однообразная, но даже теперь стоило ему закрыть глаза, как он видел – свет.

Картина прошлого, открывавшаяся ему, была воистину спокойной и приятной, без чрезвычайных событий, как большой тенистый сад – старинный сонный сад, все еще полный свежих и сладких цветов. Он мало сделал. Как указал Эллингем (с видом человека, сове-

ршившего открытие), годы его жизни просто уплыли от него – так же, как сухие листья уплывают по реке.

Однако было много вещей, доставлявших ему удовольствие. В целом, он был счастлив прежде – счастлив по-своему, ведь он знал самую прекрасную вещь – «восторг и горе любви».

Он взглянул в окно, в спокойный вечер. Перед ним темнел сад, простираясь в бледном полусвете от самого окна. Уже начался тонкий мгlistый дождь, постепенно скрывавший мир. Его взгляд снова вернулся в комнату и остановился на темной дубовой резьбе, затем – на сиянии и темноте изящных переплетов, на потрескавшейся разбитой фигурке мальчика из желтоватого мрамора и, наконец, – на современном портрете, что висел над большим камином.

То была единственная картина в комнате. Обесцвечивающий свет приглушил ее краски, однако память держала лампу – лампу мягкого пламени, с которой он созерцал образ мальчика, написанного в полный рост, – мальчика пятнадцати-шестнадцати лет, стройного, смуглого, с изящным овалом лица и с длинными шелковистыми волосами, ниспадавшими косою волною на его лоб. У него были точеные черты лица, особенно совершенны были губы. Немного экзотично выгля-

девший юноша, необычайно аристократичный, даже чуть презрительный – несмотря на удивительно обаятельное выражение.

Гарольд, младший сын Обри Стюарта Брокльхорста, эсквайра. Он помнил его имя так, как увидел в каталоге Королевской Академии – как давно? Ему запомнился странный разговор, состоявшийся позднее с отцом, когда ему пришлось немного приоткрыть свою душу; запомнилось утро, когда, спустившись в гостиную, он обнаружил этот портрет.

И это было двадцать, тридцать лет назад! Казалось, все произошло только вчера. Несомненно, отец был очень добр к нему. Картина явно не была приобретена задаром... Но Гарольд!..

Таким тот был, когда он встретил его, такой же он теперь, таким он будет всегда! Он никогда не состарится, он навсегда останется мальчиком. Лето будет сменять лето, и поля будут то белы, то полны зерном, но Время не вплетет ни одной серебряной нити в сумрак его волос, не приглушит улыбку, не исказит стройное тело.

Грэхам откинулся и закрыл глаза. Он уже почти забыл о незаконченном письме к Эллингаму, забыл обо всем, кроме странной фантастической грезы, что заполняла раннюю часть его жизни и осталась, как яркий свет вдалеке...

Как это началось? Было ли это всегда? Он старался вспомнить.

Он сделал движение зажечь сигару. В комнате ничего не было видно, кроме разбитой статуэтки – старинной копии знаменитого Спинарио, которую отец нашел во время одного из его путешествий по Греции. Внезапно Грэхам понял, что именно эта статуэтка являлась средоточием, излучавшим все, была осью, вокруг которой вращалась его жизнь. Именно она была началом и отправной точкой. Но – началось ли это с его жизнью здесь? Не существовало ли это прежде, две тысячи лет назад? Однако завеса уже упала: он не мог это увидеть.

Тот греческий мальчик был тайным другом Грэхам на протяжении всего его детства, приятелем, разделявшим его многочисленные приключения, сотоварищем его мечтаний – дневных грез и ночных снов. Его мысли обратились к его ранней жизни. Он был воспитан отцом (мать умерла, производя его на свет) – воспитан здесь, в этом доме; и до тех пор, пока он не пошел в школу, у него не было ни одного друга-сверстника. Отец сам занимался его образованием, учил читать на греческом в том возрасте, когда большинство мальчиков с трудом пробираются по первым страницам грамматики; и прежде чем Грэхам узнал о Шекспире и Мильтоне, он уже перечитывал многие из произведений Софокла и Платона.

Учитывая такие обстоятельства – необычное воспитание, незнание мира, прекрасную

обстановку – стоит ли удивляться тому, что странная способность мечтать, данная ему от рождения, только совершенствовалась – до тех пор, пока средь бела дня он не начал бессознательно переходить из одного мира в другой и со всею серьезностью рассказывать отцу о чудесных событиях и сказочных приключениях, которые никогда не происходили? Да, волшебные влияния явственно ощущались в том сонном саду, на тех широких, мягких лужайках и меж спокойных деревьев, но самое волшебное заключалось в смутной, богатой музыке моря.

Тихая музыка бегущей и вздыхающей воды звучала, как обертон, все его детство, соответствуя самой форме его души, делая ее податливой, чуткой, нежной и чистой, даруя ей ту способность (или недуг) грез, что сам подобен бесконечному, стремящемуся вдаль потоку. Шум воды всегда звучал в его ушах. По ночам, если ему случалось проснуться, он слышал низкий, печальный плеск волн; днем он часами лежал на берегу ручья, струившегося меж корней ив возле яблоневого сада, – лежал, позволяя мыслям уноситься вместе с потоком, что был столь свежим, чистым, незамутненным! А в розовом саду был старый, мохом поросший фонтан, который пел в солнечном сиянии, плакал в сумерках, рыдал по ночам, а в полдень шептал томному мальчику о скитаниях Одиссея, о Язоне, о Золотом Руне.

Фонтан, изгибавшийся на фоне лазури и падавший обратно в бассейн широкой зеленой листвы; фонтан, окрашенный радугой романтики и задетый крылами Любви...

Иногда по вечерам он сидел с отцом на лужайке перед домом или играл с ним в крокет, а по утрам иногда делал уроки там или в боковом саду, тогда как благоухание роз и жужжание пчел медленно плыли мимо него. И всякий раз, поднимая глаза, он видел прибранные темные дорожки, мягкий зеленый дерн, очаровательные клумбы: все было очень мирным и спокойным под желтым летним солнцем. Он видел арки поднимавшихся роз, георгины с их широко раскрытыми к теплу лепестками, сам солнечный свет, ниспадавший, как поток даффоделей, из глубокого голубого неба. Место, чтобы мечтать сонными часами! Место, побуждавшее и направлявшее ко внутренней, созерцательной жизни и к мальчику, который даже тогда был столь дорог. И теперь, обращаясь к прошлому, он ощущал то всеподчиняющее сонное спокойствие, почти не нарушаемое легким дуновением ветра, ту полную свободу от тревог, смятения и разногласий мира. В такой обстановке он рос. Жаркими днями он лежал в густой, прохладной, благоуханной тени большого бука, росшего возле дома, — не читая и скорее чувствуя, чем думая, позволяя влиянию окружающих вещей проникать в его душу, чтобы оставаться в ней

постоянно присутствующим образом совершенной красоты, того идеала духовной прелести, который, согласно Платону, возвышает дух к Богу. Он лежал, готовый жить и умереть именно здесь, не доходя даже до тех смутно-голубых гор, таявших в небе, что были видны из верхних окон.

Может быть, слишком чувствительный мальчик! И, несомненно, тот, для кого явленное очарование жизни и видимого мира многое значат. Нежный мальчик, добрый, любящий и счастливый, невинный и чистый...

Видимый мир! Не был ли он почти осязаемым? Как бы то ни было, из деревьев и неба, из беспокойного моря и ветра возникал тот воображаемый друг, который делал его жизнь чарующей, тот вестник Эроса, прекрасный мальчик, приходивший к нему из своего удивительного сада, со своего луга асфоделей.

А потом он пошел в школу.

II

Они часто обсуждали это. Оно присутствовало всегда — как источник удивления и множества вопросов; оно витало и колебалось, то приближаясь, то отступая; оно могло относиться к любому моменту, могло настать без предупреждения и вступления: оно было неким заколдованным замком, что вырастал в небе с молниеносной скоростью и столь же быстро исчезал. Однако, пока ему не исполнилось шестнадцать лет, решительный шаг для превращения видения в действительность сделан не был.

Отец привез его и уехал, оставив Грэхама со сжимающимся сердцем посреди нового мира. Как сильно все отличалось от того, что он знал! Впервые в жизни он почувствовал себя совершенно несчастным. Однако в некотором смысле он оказался чрезвычайно удачлив. Гораздо быстрее, чем можно было ожидать, он вошел в новую жизнь. Конечно, он никогда еще не играл ни в крикет, ни в футбол, но от природы был сильным и ловким, и в первой игре быстро добился успеха. Тогда он узнал, как скоры были его новые сотоварищи на похвалу и ободрение. Если бы он был лучше

знаком с жизнью, то, несомненно, удивился бы своей почти мгновенной популярности, так как поначалу он непременно должен был показаться им «весьма странным». Тем не менее, он им понравился, и они полюбили проводить с ним время. И даже если они находили его необычайно невинным – что ж, это качество только придавало ему особую прелесть, он должен был быть именно таким. Конечно, это было для них довольно забавным, но они относились к этому наилучшим образом, вовсе не так, как могли бы, если бы имели склонность и желание ранить и мучить его.

То, что его новые товарищи сразу и безоговорочно приняли его, казалось Грэхаму естественным, но не отвечало цели отца, направившего его в школу, чтобы ознакомить с действительной жизнью. Внешняя жизнь оставалась для Грэхам столь же далекой, как всегда. Она была светлой и увлекательной, и все были столь вежливы и милы с ним. Он не мог знать, что милое обхождение немного значит само по себе, и что он, Грэхам Иддеслей, является счастливым исключением. В самом деле, казалось, что не было ни одного мальчишка, который не стремился бы помогать ему, не радовался бы, наблюдая, как тот привыкает к новому месту. А те вещи, в которых он действительно был силен – плавание, ныряние, бег, прыжки, перевод с греческого языка – были щедро расхвалены. Учителям он тоже понрав-

ился и, что было более значимым, старшие мальчики, пренебрегавшие его сверстниками, интересовались им, приглашали к своим занятиям, присматривали за ним, желали, чтобы он служил доверие в школе.

Он был счастлив, и дни летели незаметно. Однако он так и не научился сполна жить той жизнью, которую вели другие, и временами его охватывала тоска по дому. Так было, когда он заметил (хотя приобрел достаточно приятелей, чтобы сожалеть), что его прежний товарищ перестал посещать его, что он не мог даже вызвать в памяти его образ, вспомнить, как тот выглядит: как будто изменение в его повседневности коснулось и сумрачных путей грез. Хотя он немного размышлял об этом, он все же смутно чувствовал, что нечто перестало существовать, оставив брешь в его бытии, пустоту, которую ни одно из его новых удовольствий или увлечений не могло заполнить.

III

Грэхам сидел на камне под небрежно сложенной стеной. Вокруг простирались поля, мрачные и пустынные в холодном свете февральского дня, и тяжелые темные тучи, как клубы дыма, плыли по унылому серому небу. Время от времени ветер пробегал по сухой траве, и порою бледный желтоватый свет, как тусклый отсвет далекого солнечного сияния, пробивался сквозь тучи, на мгновение освещая местность. Мальчик сидел, опираясь подбородком о руки, и пристально смотрел в даль, где расстилались однообразные поля и виднелись голые кусты живых изгородей. Он смотрел рассеянно и чуть печально, думая о доме, о прошлом. Он чувствовал усталость; тяжесть и влажность, присутствовавшие в воздухе, угнетали его дух, и его подавленность выражал даже наклон его головы.

Из сладостного покояствия дома он перешел в большую школу, в гораздо более занятой и шумный мир, где идеальное и действительное больше не сливались в одну сонную туманную дымку. И когда он оглядывался через узкий поток времени — через несколько разделявших недель, он удивлялся его глуби-

не. Прежняя жизнь скрылась от него так, как рисунок исчезает в огне, и он знал, что она больше никогда не возвратится. Все прошло! Все кончено! Со всем – покончено! Как странно... Но стоило ему закрыть глаза, как прошлое накатывалось подобно широкому свитку, четкому в каждой подробности. В то время журчание воды и шепот ветра в деревьях и траве звучали для него почти как человеческая речь, а распаханное небо и море выглядели почти что лицами; в то время они, казалось, могли говорить прямо к нему, из своей души – к его; тогда Пан и его спутники населяли каждую рощицу у дороги... Глядя теперь на все это, он спрашивал себя – серьезно и с волнением, могла ли та ясная, чистая сфера снова открыться ему, могли ли те вещи опять (хотя бы ненадолго) стать прежними? Могли ли вернуться те длинные, мирные летние дни и прохладные долгие вечера, когда он сидел на ступеньках рядом с отцом, наблюдая, как тот курит трубку и рассказывая ему о своих разнообразных затеях и намерениях, которые создавало его воображение. И деревья тогда так покойно отдыхали в бестревожном воздухе, так мягко темнели на фоне неба! Внезапно его охватило пронзительное стремление ко всему этому, к прежней жизни, и в порыве тоски по дому он бросился в колыхавшуюся безжизненную траву. Лежа, он, казалось, слышал стоны моря, разбивавшегося за милю от-

сюда об изрезанный скалистый берег, и резкие крики чаек, что метались над серым пустым простором вод, устремляясь к вздымавшимся волнам.

Внезапно он слышал шаги – шелест по траве – и, все еще ослепленный своей грезой, приподнялся взглянуть на нарушителя своего покоя.

– Что случилось? Могу ли я чем-нибудь помочь?

Слова были произнесены очень мягко и показались Грэхаму странно знакомыми и волнующими. Вместо ответа он сидел недвижимо, неотрывно глядя на незнакомца, и краска медленно прилиwała к его щекам. Завороженный, с чуть приоткрытым ртом и широко распахнутыми глазами, он не осмеливался шевельнуться и почти не дышал, боясь, что видение исчезнет. На некоторое время все его существо сосредоточилось в одном безотрывном взгляде.

Тот, кто стоял перед ним, был всего лишь мальчиком примерно его лет и роста, только чуть более хрупко сложенный. Однако для Грэхамы он был прекрасен, как ангел, был воистину ангелом, «сыном зари». Его кожа, оттененная широким льняным воротником, имела тот темный, оливковый оттенок, который греки считали – у своих мальчиков – признаком мужества; у него были ясные темно-синие глаза, прямой нос, изумительно кра-

сивые и нежные губы; темные волосы, мягкие и шелковистые, ниспадали широкой волною на высокий лоб.

— Кто ты? — запинаясь, пробормотал Грэхам.

Мальчик слегка покраснел и улыбнулся.

— Меня зовут Брокльхорст, Гарольд Брокльхорст. Почему ты смотришь на меня так странно?

Его вопрос заставил Грэхам осознать свою невежливость и ребячливость, равно как и невозможность того, что пришло ему на ум.

— Я не хотел... — пробормотал он, заливаясь краской смущения. — Прошу прощения.

Опустив глаза, он добавил:

— Ты очень напомнил мне того, кого я знал. Это очень странно и... И, к тому же, ты застал меня врасплох. Я был не готов.

— Не готов?

— Да. Я думал о нем — о другом, когда появился ты. Конечно, ты не понимаешь. Это невероятное сходство... Все это невероятно, — он не мог заставить себя посмотреть на мальчика.

— Но сходство с кем? — поинтересовался Брокльхорст. — И почему это так поразило тебя?

— Ах, с кем? — загадочно повторил Грэхам. Его странная фантазия все еще брезжила меж ним и его собеседником, как свет — как вспышка яркого солнечного света. — Я не знаю, — мягко произнес он.

— Не знаешь!.. — повторил ошеломленный Брокльхорст и замолчал. Заметив серьезность

Грэхам, он рассмеялся. – Разве ты не странный приятель? – сказал он с милой простотой. – Мы оба немного странные, – отозвался Грэхам. – По крайней мере... Прошу прощения.

– О, все в порядке.

– Видишь ли, я знал тебя столь долгое время, что... что... – он не мог произнести свое объяснение.

– Ты имеешь в виду, что в самом деле знаешь меня? Тогда ты должен был где-то меня встретить, – он попытался припомнить, но безуспешно.

– Это было не здесь, – медленно и серьезно проговорил Грэхам. – Я... Я не могу это сказать, – он посмотрел в лицо собеседника с тоскующей, вопрошающей беспомощностью. – Если я скажу, ты будешь смеяться?

– Не знаю. В любом случае, ты хочешь это сказать?

– Хочу.

– Тогда выкладывай!

– Мне немного трудно говорить об этом... Это заставит тебя счесть меня таким ребячливым и глупым. Видишь ли, ты не сможешь этому поверить, если не вспомнишь это так же, как я.

Брокльхорст взглянул на него:

– Вспомнить, не видел ли я тебя где-нибудь? Но я легко мог забыть. Я действительно заблуждался, вот и все.

– Да, вот и все... Но я все-таки знаю тебя – даже твой голос, и манеру говорить, и то, как ты сейчас стоишь.

– Я вернулся только этим утром. Не думаю, что мы могли встретиться здесь до Рождества.

Грэхам покачал головой:

– Это было не здесь, – проговорил он. Затем, вдруг собравшись с духом и прикрыв глаза, он продолжил:

– Это было далеко, в саду... О, я не могу сказать. Не могу, если ты мне не поможешь. Это ускользает от меня. Когда я стараюсь его поймать, оно исчезает, хотя я чувствую, что оно рядом... где-то здесь... – он улыбнулся с некоторой робостью. – Ты хочешь знать, о чем я говорю? Я пытаюсь вспомнить грезу, которая часто посещала меня.

– И я имею с этим что-то общее?

– О да, все, – ответил он спокойно и просто. – Ты всегда был там... Это принадлежит тебе так же, как и мне. Ты встречал меня там в продолжение лет!

Что-то в его голосе заставило Брокльхорста с изысканным тактом отвести взгляд.

– Я не совсем понимаю тебя, – мягко произнес он. – Не думаю, что знаю то, о чем ты говоришь.

– Я имею в виду лишь то, что сказал, – ответил Грэхам и замолчал, будто пытаясь что-то понять сам. – Ты мечтаешь когда-нибудь? – спросил он.

- Да, конечно.
- Хорошо. Не казалось ли тебе, что должен существовать другой мир, кроме того, в котором мы живем? То есть мир вне этого, но все же настоящий.
- Мир грез?
- Да, можно назвать его так. Мир грез... Однако пока мы здесь, мы знаем, что только этот мир настоящий, и нет другого.
- Брокльхорст посмотрел на него с любопытством:
- Но ты веришь в него, не так ли?
- Да, верю – или привык верить. Об этом что-то написано в «Theaetetus» Платона.
- Ты читал Платона?
- Немного. С отцом.
- Это откуда ты позаимствовал такую идею?
- О нет, это моя идея. Она являлась частью моей жизни... Видишь, мои мечты особенные. В них я возвращаюсь в одно и то же место, в сад, и переносу с собой память об одной жизни в другую. Теперь ты понимаешь? Я не могу объяснить проще, потому что сам немного запутался. Когда-нибудь это прояснится, и я смогу сказать лучше.
- Хорошо, тогда – до того времени! – Брокльхорст взобрался на стену и постучал каблуками о камни.
- До того времени?..
- Ты со всем так говоришь?
- Ты хочешь сказать, что мне не следовало го-

ворить этого? Как бы я стал говорить об этом с другими, если даже ты меня не понимаешь!

Второй мальчик замолчал. Он думал.

— Как я выглядел? — спросил он после молчания. — Я имею в виду в твоих мечтах, — не дав Грэхаму ответить, он поспешно добавил:

— Ты не обязан рассказывать.

— Ты не хочешь этого оттого, что я опять буду говорить в такой же манере? — спросил Грэхам немного печально, испытывая странное чувство одиночества. — Ты был красив, — прошептал он чуть слышно. — Красивее всех, кого я встречал.

Последовало продолжительное молчание. Если Брокльхорст и был удивлен последним замечанием своего нового товарища, то, по крайней мере, ничем этого не выдал. Ветер слабо веял над ними, и стая грачей летела на родину в сером небе. Уже было поздно. Казалось, мир вплывал в цепкую, морозную мглу, сквозь которую поблескивала золотая луна, медленно восходя над покинутыми полями.

— Нам надо возвращаться, — сказал Брокльхорст. — Уже темнеет.

В сгущающихся сумерках они неторопливо направились в сторону школы. Грэхаму доставляло изысканное удовольствие чувствовать своего сотоварища столь близко и быть с ним наедине. Если бы только он нашел в себе достаточно смелости, чтобы положить руку на его плечо! Всю дорогу он говорил себе, что сдела-

ет так, когда они дойдут вот до того места, но как только они достигали его, странная робость овладевала Грэхамом. Когда же они, наконец, добрались до школы, возможность была утрачена, и ему показалось, что он позволил чему-то ценному и неповторимому ускользнуть навсегда.

IV

Грэхам лежал на спине с открытыми глазами. Вокруг царило спокойствие, лишь временами кто-нибудь из мальчиков, разделявших с ним спальню, слабо шевелился или бормотал или во сне. Прошло больше часа после отбоя, и все, кроме него, быстро уснули, но он все еще лежал без сна, думая о прошедшем дне и о том странном чувстве, что ворвалось в его жизнь. Он спрашивал себя, как это могло произойти, и размышлял над прочитанными некогда историями из языческого мира, в котором эта удивительная страстность дружбы являлась столь распространенной. Теперь, вернувшись к нему, эти истории обрели новую, дополнительную прелесть, о которой он только мечтал прежде, и она озаряла его мысли небесным сиянием. Не могла ли его собственная дружба быть такой же? Не могла ли она быть чем-то большим, чем просто романтической грезой, тенью прекрасной мечты? Он испытывал особое наслаждение от возможности дать выход своей нежности, позволить воображению устремляться все дальше и дальше, как быстрый и сильный поток, в постоянно меняющейся грезе любви. Казалось, что, протянув

руку, он коснулся поэзии, сущности бытия, и этим движением разбудил другой дух, который ныне бился крылами внутри его собственного.

Дух Красоты, ты освящаешь

Своими красками все то, на чем сияешь ты, —

так мог бы он петь, если бы знал ноты, ибо он чувствовал себя вознесенным на сильных, стремительных крылах утра, распростертых к самым вратам Небес. Именно на такой любви основывалась платоновская философия, а теперь это пришло в его жизнь. Прекрасное, чистое, святое, из Божьего сада снизошло оно в его душу, пролилось сквозь распахнутые врата Небес, чтобы омыwać его своим светом. Он повернулся и, улыбнувшись, раскрыл руки к великой, благоуханной матери-ночи, и она, прохладная, темная и молчаливая, склонилась к нему и мягко поцеловала его в лоб, в губы, в глаза.

Он не мог спать. Странное беспокойство, «дух в ногах», поднимало его с постели. Он спустился в ночной рубашке на холодный пол. Залив лунного света пересекал комнату, и он остановился, наблюдая, как этот неслышный, стремительный поток льется сквозь пространство. Каким спокойным все было, каким легким! Тихо-тихо, на цыпочках, он прошел к окну и, взобравшись на стул, выглянул наружу.

На улице все было столь же мягким в том же холодном неясном свете. Земля и небо смешивались в странном туманном сиянии – бледном, голубоватом, почти белом. Лунный свет озарял все вокруг – покойный и сонный, еще более ощутимый и создающий более резкие тени, чем свет дня. Грэхаму казалось, что стоит протянуть руку, и можно прикоснуться к нему, смахнуть его прочь, как огромную белую, шелковистую паутину сотканного пламени. Каменный фасад дома напротив четко вырисовывался чернотой на фоне неба, и тени на траве были черны, как чернила. Над длинным рядом недвижимых голых деревьев он видел пояс Ориона и справа от него – белую ущербную луну, слабо охваченную по краям голубизною. Это было похоже на рассвет удивительного ледяного дня над неизведанным, новым и таинственным, миром; и в холодном, туманном свете он почти ожидал увидеть движущиеся очертания тех, кто населял неведомое.

И он действительно увидел фигуру. Она направлялась ему навстречу, спускаясь по широкой серебряной лестнице, что вела с Небес. То был рыцарь, закованный в сияющие латы. Его темные волосы развевались на фоне звезд, он звал Грэхاما, манил его рукою и ждал, ждал...

Дрожь пробежала по телу Грэхамы. Он не мог долее оставаться в комнате: ему хотелось быть где-то за воротами смерти... Он схватился

за чугунные перекладины окна, прижался к ним грудью, простер руки и улыбнулся.

– Что ты делаешь?! Иддеслей! Грэхам! – то был голос Брокльхорста. Его кровать стояла возле окна, и он не спал.

– Ничего, ничего, – отозвался потревоженный Грэхам, быстро обернувшись к нему. – Я смотрел на улицу. Я забылся... Почему ты не спишь?

Он подошел к другу и присел на край его постели. Брокльхорст уже снова устроился под одеялом.

– Я спал, пока ты не разбудил меня. Почему ты не в постели? – прошептал он. – Почему ты стоял там? Что за безумство для этого времени года! Ты же мог убить себя!

– О, я не простужаюсь столь легко. Думаю, я не осознавал, что делаю.

– Тебе следовало одеться. Ты же в одной ночной рубашке. Сначала я решил, что ты ходишь во сне. У окна ты выглядел, как белое привидение. Ты схватишь смертельную простуду, оставаясь там. Иди ко мне, если хочешь поговорить.

Грэхам забрался в постель.

– Ты очень странный человек, не правда ли? – проговорил Брокльхорст.

– Я тоже так думаю.

– Ш-ш, говори тише. Если тебя застанут здесь, со мной, будет ужасный шум. На что ты смотрел из окна?

- Не знаю. Кажется, я видел...
- Что?
- Не могу точно сказать. Я почти забыл.
- Ты должен сказать.
- Это был рыцарь. Молодой рыцарь в доспехах.
- Там, на земле?
- Это был ты... О, я знаю, что на самом деле там ничего не было, – поспешно добавил он, – только лунный свет на траве.
- И все то, о чем ты говорил мне днем, тоже ничто?
- Да-да, тоже ничто. Когда-нибудь я расскажу тебе об этом, с самого начала, но не сейчас. Это заняло бы слишком много времени. Знаешь, я так долго был один, прежде чем приехать сюда. У меня никого не было. И... и я не мог говорить с тобой сегодня днем. Ты не понимаешь, какой огромной частью моей жизни это было, как много это значит для меня.

Он внезапно замолчал. Брокльхорст тоже ничего не говорил некоторое время, а потом прошептал:

- Если ты не против, расскажи, что ты обычно делал дома.

Он притих и стал слушать довольно сбивчивое повествование, пока не задремал.

- Тебе лучше вернуться в свою постель, – пробормотал он сонно. – Тебе не следует засыпать здесь. Не шуми: кто-нибудь может не спать.

Грэхам покорно поднялся, однако медлил в

постели, удерживаемый смутным, но очень сильным желанием – желанием облегчить душу от того, что заполняло ее и что чувство некоей стыдливости запирало внутри. Внезапно он преодолел робость и, опустившись на колени возле кровати, поцеловал своего друга, лежавшего в полусне. Это было все. Он не мог бы произнести ни слова, если бы попытался, и глаза его были полны слез. Когда он крался к своей постели, упоительное ощущение счастья владело им, ибо ему казалось, что в то мгновение, когда его губы коснулись щеки Гарольда, он каким-то образом вручил себя ему, вручил ему свою жизнь, свое доверие. Он знал, что утром все станет немного иным, утром ему придется вернуться к повседневной жизни, но он больше не будет один, никогда больше не будет один! Зарывшись лицом в подушку, с еще слегка влажными щеками, он молился о том, чтобы все было хорошо, чтобы Гарольд полюбил его; и уже рассветало, когда он, наконец, заснул.

V

Он проснулся с ощущением восхитительной радости, с чувством, что в его жизни произошло нечто прекрасное, как если бы неожиданно вернулось лето, как если бы весь мир был полон счастья и солнечного сияния.

Потом он все вспомнил, и странная страстная нежность преисполнила его сердце. Да, это было именно лето, и солнце сияло вокруг него. В то же время он испытывал глубокую необъяснимую стыдливость, которая удерживала его от присоединения к другу и заставляла держаться в уединении до тех пор, пока не закончились занятия в школе.

К тому времени он все обдумал и даже стал немного удивляться своему первоначальному замешательству. Все казалось естественным, тем единственным, чего он ожидал, ради чего пришел сюда. Это было явлением, не имевшим ни начала, ни конца: нечто, как воздух, которым он дышал, исполняло всю его жизнь, все его существо. И оно скользило без разрыва назад, в прошлое... Первой встречи не было вовсе, об этом не стоило даже задумываться, и не было никакой двусмысленности, тем более – чего-либо странного. Он знал, он чувств-

овал, и с течением времени знал и чувствовал все больше. Он прислушивался к обертону этого явления, слушал, как тот становился все глубже и мелодичнее, иногда делаясь почти внятным, и указывал путь. Но, когда он напрягал слух, чтобы уловить нарождающееся слово, оно, определенное и неоспоримое, растворялось в тишине.

Однако бывали мгновения, когда он замечал (или так ему казалось), что Брокльхорст не очень хорошо понимает, что значит для него их дружба. И как мог он понимать? Кроме него самого, никто не понимал и не знал, какую силу имел мягкий голос его друга, вызывавший слезы на его глазах и проникавший в сокровеннейшие тайники его души. О, как нежно он любил его! Было нечто в самой тайне его привязанности, что позволяло ему бережно охранять ее от соприкосновения с чем-либо еще, от его повседневного существования, от любого грубого или прозаичного вторжения. Он хранил ее в месте священном, спокойном и прекрасном – в часовне внутри его духа. Время от времени он приходил в ее мягкий свет, чтобы преклониться перед тем, что сохранялось там, и побыть наедине со своей любовью пред алтарем, который он украсил свечами и цветами – белыми, незапятнанными цветами своего мальчишеского восхищения, невинности и веры...

Понемногу он стал замечать (поначалу не

веря и не желая верить), что мнение о Брокльхорсте не было хорошим. Он не знал еще ничего, кроме смутных слухов, но видел, что его друга не любили. Сначала он нашел это почти невообразимым, но когда мальчики один за другим стали советовать ему бросить его товарища, он не мог более закрывать на это глаза. Конечно, он был страшно рассержен. Бросить? Это ведь никто не мог сказать ничего определенного, хотя все были готовы намекать и советовать. Он знал, что Брокльхорст отсутствовал в школе некоторое время, потом был возвращен: не один мальчик рассказывал ему об этом. Но даже если дело заключалось в этом событии (сам Брокльхорст никогда не упоминал его), возвращение, по мнению Грэхам, явно и триумфально восстанавливало его невиновность. Но невиновность в чем? Он мог быть отчислен просто из-за утверждения того, что считал своими правами, из-за нестерпимости рутины, из-за множества вещей, которые ни в коем случае не являлись серьезным проступком. В глубине души он иногда спрашивал себя, могло ли отстаивание своих прав больше, чем нестерпимость рутины, подвергнуть опасности чье-либо положение. Как бы то ни было, прошло немало времени, прежде чем он, наконец, счел необходимым поговорить с Брокльхорстом, — конечно, не рассказывая, что общее мнение было против него, но предупредив его и дав ка-

кой-нибудь совет.

В один из воскресных дней – последних дней весны, когда они прогуливались, он окончательно утвердился в своем решении и тотчас перешел к разговору, хотя поначалу с некоторым колебанием и обиняками.

– Кем ты собираешься стать, Гарольд, когда вырастешь? – спросил он. – То есть, когда окончишь школу и университет?

Брокльхорст взглянул на него с легким удивлением.

– Быть!.. – повторил он. – О, не могу сказать. Я даже не думал еще об этом. К тому же, я не хочу быть кем-то определенным. Полагаю, что я буду собой – именно тем, кем всегда хотел быть.

– Я имел в виду, что ты будешь делать, – уточнил Грэхам. – Ведь ты, несомненно, будешь что-то делать. О чем ты думаешь, когда один?

Брокльхорст улыбнулся.

– Чаще всего о тебе, – легко ответил он. – О, я даже решусь предположить, что мне удастся плыть по течению: делать то же, что и сейчас.

– Плыть по течению?

– Да. Не кажется ли тебе, что это весьма заманчиво? – он говорил в той полуленивой, полуироничной манере, к которой Грэхам привык, но которая, как он заметил, раздражала других. Это было одной из невинных причин непопулярности Брокльхорста, на что он и собирался намекнуть: ведь это больше всего ос-

тального заставляло учителей недолюбливать его.

– Я не могу особенно крепко держаться чего-либо, – добавил Брокльхорст. – Все кажется достаточно приятным до тех пор, пока я не начну этим заниматься. Тогда я начинаю испытывать некоторую скуку. Знаешь, стоит только попробовать что-либо, как это становится немного утомительным. Вот почему я не хотел бы привязывать себя к чему-либо определенному.

– И все-таки ты должен следовать какому-то определенному пути, – отозвался Грэхам, неудовлетворенный ответом.

– Мой дорогой друг, я хочу следовать только тебе.

– Мне?

– Да, тебе. Я вовсе не шучу. С тех пор как я узнал тебя, многое изменилось. Ты заставил меня видеть вещи иначе. Возможно, это довольно странно, но это правда. Ты такой... Как сказать? Хороший.

– Но ведь ты не можешь видеть вещи моими глазами, – возразил Грэхам.

– Я знаю, знаю. Не могу даже утверждать, что вижу их так, как хотелось бы тебе. Как бы то ни было, мой новый взгляд значительно отличается от прежнего. Трудно сказать, как долго это длится. Возможно, столько же времени, сколько наша дружба. Я дружил с другими мальчиками, даже с некоторыми из тех, что

теперь стараются заставить тебя бросить меня... Посмотри на эти два ряда деревьев, которые сначала идут параллельно, а потом вдруг расходятся!

– Ну?

– Ну – они подобны нашим судьбам.

Грэхам взглянул на него.

– Почему ты так говоришь? – спросил он немного странно. Брокльхорст улыбнулся.

– Я имею в виду, что наша дружба должна однажды закончиться, – объяснил он.

– Настоящая дружба никогда не заканчивается, – медленно произнес Грэхам. – Если ты думаешь, что наша может, значит она не является прочной – даже сейчас.

– А что ты считаешь настоящей дружбой? – поинтересовался Брокльхорст.

– О, если ты должен спрашивать!..

– Я спрашиваю потому, что хочу, чтобы ты ответил, – мягко сказал он.

Грэхам улыбнулся и вдруг увидел то начало, которого ждал.

– Одна из примет истинной дружбы – не бояться говорить другу прямо то, что думаешь о нем и о себе.

– Ах, значит, ты собираешься сказать мне что-то неприятное, не так ли? – спросил Брокльхорст с доброй иронией. – Друзья не должны ничего скрывать один от другого, так я понимаю?

– Они должны делиться всем, – просто отве-

тил Грэхам. — Прежде всего, они должны делиться своими мыслями.

Брокльхорст немного помолчал, а потом предложил с легким вздохом:

— Может быть, присядем здесь, прежде чем начать?

— Ты делаешь это трудным для меня, — пробормотал Грэхам, слегка покраснев.

— Ах, тебе не должно беспокоиться из-за этого.

Они опустили на ствол поваленного дерева. Последовало весьма неловкое молчание.

Перед ним луг шел под уклон, переходя в небольшую долину, поросшую деревьями и ежевикой, сквозь которые пробирался узкий ручей. Солнечный свет пронизывал ветви, превращая дождевые капли на невысокой траве в крошечные шарики огня; и повсюду ощущалось свежее, животворящее благоухание весны, земли и влажной зелени. Брокльхорст сидел, подпирая подбородок руками; его лицо, совершенно неподвижное, можно было изобразить в бронзе. Уголки его губ были опущены, глубокая линия пролегла меж бровей, а пристальный взгляд темных, почти черных глаз был устремлен вперед. Казалось, он забыл о присутствии Грэхама, забыл обо всем, отдавшись своим мыслям, и его товарищ начал интересоваться, о чем тот размышлял.

И пока он интересовался, как будто новый мир взошел над его сознанием — мир, где добро и зло больше не противостояли одно друго-

му, как прежде, но были смешаны, запутанно и безнадежно. Минуту назад все было ясным и простым, теперь же, когда он поднял глаза, солнце чуть закрыли облака, а краски и значение жизни стали темнее. Ему казалось, что прежде он жил в атмосфере мечтательного идеализма, следствия полного неведения. Он не понимал, сколь прекрасным было это неведение, происходившее не от глупости, но от особого склада ума и неопытности в жизни, зле, даже в горе. Внезапно его охватило чувство глубокого сострадания к мальчику, сидевшему подле него.

– Думаешь, я рассказываю тебе обо всем? – вдруг спросил Брокльхорст, и легкая усмешка затаилась в уголках его губ, однако голос его слегка дрожал. Грэхам старался не смотреть на него.

– Думаю, тебе хотелось бы этого, – медленно проговорил он.

Брокльхорст покачал головой:

– Нет, не хотелось бы.

– Значит, ты не можешь доверять мне сполна.

– Но ведь я доверяю тебе! Почему ты такой серьезный? – он слабо улыбнулся. – Я заметил, что ты оставляешь всю свою серьезность для меня – того, кто все же предполагает быть твоим приятелем.

Грэхам посмотрел на него с неуверенностью.

– Скажи, что все в порядке, – произнес он, – и

я поверю тебе.

– Все в порядке.

Последовало молчание.

– Полагаешь, что ты держишь свое обещание? – спросил Брокльхорст с легким смехом.

– Полагаю, что нет.

– Что же ты хочешь услышать? Что я должен сказать? Глупо беспокоиться о скверном, когда существует столько иных вещей.

– Ты имеешь в виду, в тебе?

– Во мне, если хочешь.

Грэхам отвернулся, пытаясь понять его слова. Потом, обратившись к товарищу, отважился уместить все в одном вопросе:

– Почему ты был отчислен?

Брокльхорст заметно покраснел.

– Хотя ты и являешься моим другом, у тебя нет твердой веры в меня, – проговорил он.

Грэхам опустил глаза:

– Нет, есть, – пылко произнес он. – Прости меня. Я довольно подлый товарищ, если сомневаюсь в тебе. Я больше никогда не сделаю этого.

– Даже если кто-нибудь станет что-то рассказывать тебе?

– Никогда! Каким же негодяем ты должен счесть меня!..

Брокльхорст покачал головой:

– Наверное, кто-то пытается настроить тебя против меня. Это даже естественно... Видишь ли, я уходил по ночам – не очень часто, время

от времени, и этого не понимали.

– Уходил?

– Да, через окно. Поскольку я никого в это не посвящал, решили, что дело нехорошее... Я должен был уходить... Я не могу объяснить.

– Ты хочешь сказать, что это не причиняло никакого вреда?

– Я делал это только для того, чтобы побыть снаружи – подышать воздухом, побыть под небом...

– Но разве ты не мог днем...

– Нет. Мне хотелось бегать в лунном свете, бегать по лугам, купаться в реке, быть свободным.

– Почему же ты ничего не говорил им, зная, что они думают?

– О, пусть себе думают, что угодно! Я никогда не объяснял ни один из своих поступков и не собираюсь начинать теперь. Знаешь... – он заколебался.

– Что?

– Ничего особенного, только странная фантазия, посещавшая меня в такие мгновения. Это довольно необычно, – он застенчиво улыбнулся. – Я чувствовал, будто возвращаюсь к той жизни, которой жил прежде. Если ты только можешь понять... Это было так, словно я вдруг проснулся, тогда как моя другая, обычная жизнь казалась неким скучным сном, неким пленом, куда я должен был вернуться, но которая все-таки не была настоящей.

Некоторое время Грэхам молча наблюдал за ним, а потом воскликнул:

– Предположим, что твоя фантазия была действительностью!

– Действительностью!.. О, нелепость! Как это могло быть?

– Допустим, ты в самом деле жил так!

– Среди деревьев, лугов и ручьев?

– Давным-давно...

Брокльхорст покачал головой, отказываясь верить.

– Трава была мягкой под твоими ногами, – мечтательно шептал Грэхам, – и жужжали пчелы...

– Где? Где именно?

– И ты играл на флейте Пана и купался в ручьях... Помнишь?

– Это было там, где мы встретились?

– Это было там, где мы бегали в лучах солнца по зеленой траве...

– ... там, где мы лежали в тени деревьев...

– Глубокое море, темно-синее небо, солнечное сияние, качающиеся ветви, сад: я словно вижу отражение всего этого в твоих глазах. Помнишь?

Брокльхорст опять отрицательно покачал головой:

– Только, когда ты рассказываешь мне об этом, – он рассмеялся с некоторым сожалением. – В конце концов, это твой сад. Я не мог попасть туда самостоятельно.

– Если бы мы могли действительно попасть туда!

– О, я пойду туда с тобой когда угодно, если только ты укажешь мне путь!

– Предположим, что ты мечтаешь, – задумчиво проговорил Грэхам, – и в своей мечте видишь лишь один путь. Хватило бы у тебя смелости пойти по нему? Я имею в виду, если бы этот путь вел в темноту. Смерть!

– Смерть!.. – повторил Брокльхорст, глядя на него. – Нет, – произнес он почти шепотом, – только не это, я ненавижу саму мысль об этом, ненавижу все, что с этим связано.

– И все же?..

– Ты когда-нибудь видел мертвеца?

– Нет.

– А я видел, один раз. Меня заставили увидеть. Это был мой дедушка. Никогда больше не посмотрю на что-либо подобное – никогда, никогда! Он так изменился, непредставимо... Его лицо и руки казались восковыми. Его руки... Они мне не понравились. Я видел их той ночью, когда лег спать. Они были на одеяле... Они приближались и приближались... Это было ужасно. Нет-нет, для него не существует никакого сада, не существует больше ничего, совсем ничего!

VI

Грэхаму казалось, что нигде, кроме как в нескольких стихотворениях и одном-двух пассажах Платона, не было выражения чувства хотя бы отчасти напоминавшего то, что он испытывал к своему другу. Много книг он перелистал, и те строки, что пленяли его воображение, он перечитывал снова и снова, пока не запоминал. Таким образом он изучил те части «Сонетов» Шекспира, которые были наименее риторическими и происходили, должно быть, от настоящего чувства. Не был ли и его друг «властелином его любви», «предвестником весны», «милым мальчиком», «розою красоты», «музыкою для слуха»?

Все, чем тебя природа наделила,
Есть лишь убранство сердца моего.

И другое:

Могу ль сравнить тебя я с летним днем?
Но твоя прелесть мягче и прекрасней.
Бутоны нежные в ветрах истают сном,
И лета торжество когда-нибудь угаснет.

...

Но твое лето будет вечно длиться.

Только в двух стихотворениях Россетти (стихотворениях непревзойденной красоты – «Тайна ручья» и «Ноктюрн любви») он нашел – или так думал – то, что чувствовал сам. Его привлекал их непостижимый и страстный мистицизм, казавшийся отзвуком того странного надмирного обертона, что одухотворил его собственную любовь, сделав ее удивительной. Вновь и вновь повторял он про себя эти стихотворения, изменяя род личных местоимений и думая о Гарольде, пока они не стали столь прочно связаны с образом его друга, что он не мог слышать их, не видя лица Гарольда.

Весна быстро миновала, начиналось лето. Когда Грэхам, полностью привыкший к новой обстановке, наблюдал, как дни ускользают от него, ему хотелось задержать то или иное мгновение и навсегда сохранить его в своей душе.

Однажды днем в начале июля он лежал на спине в высокой благоуханной траве под сенью дерева. Он более часа бродил в полях под глубоким безоблачным небом и теперь чувствовал себя утомленным. Его соломенная шляпа лежала рядом на земле, а он задумчиво смотрел в небо сквозь многолистные ветви, раскинувшиеся над ним, как шатер. Приятный зной и спокойствие навевали на него легкую дремоту, и он позволил своим мыслям

блуждать по воле воображения. Словно далекое бормотание, достигали его возгласы игравших в крикет, смешиваясь в его сознании с жужжанием большой черно-желтой пчелы, которая перелетала с цветка на цветок росшей рядом пурпурной наперстянки.

Грэхам думал о том, сколь прекрасны были дни, подобные этому, и сколь прекрасна была эта древняя вулканическая земля с ее изысканным покровом травы, деревьев и цветов. И жизнь!.. Она тоже была прекрасна. Ее токи, преисполнявшие его молодую кровь, двигались и в соках деревьев и трав. Чем было все это? Откуда происходило? Каждый день сотворялось чудо, когда какой-нибудь нежный листок разворачивался в покойном воздухе, или спираль только что появившегося папоротника пробивалась сквозь темную цепкую землю. И это было жизнью! И он был живым! Особенное наслаждение доставляла ему мысль о том, что он сам являлся частью природы, был столь близок к ее более простым формам. Будучи всегда восприимчивым к очарованию подобных вещей, теперь он понял полное значение древнегреческого поклонения деревьям, осознал это действо и его происхождение в собственных переживаниях. Эта способность замечать ту душу, что присутствовала в листке или растении, была частью его очень человеческой сущности, была некими древними узами, которые соединяли его прежде и будут соеди-

нять всегда с более спокойными и менее совершенными формами жизни – с целым миром пасторальных божеств: с самим богом Паном, гамадриадами, населявшими леса, ореадами, наядами, гиадами – божествами родников, ручьев и летних дождей.

Когда он думал об этом, волна радости словно поднимала его своим сильным, полным потомком. То было глубокое счастье, которое часто овладевало им в его прежнем уединении и было достаточным хотя бы на некоторое время. «Жить, жить, жить!» – как будто кричало это чувство, и этого было довольно. Несомненно, он будет счастлив столько же, сколько будет сиять солнце, а природа петь великую песнь чувственной жизни. Он закрыл глаза, чтобы изысканно свежее и живое благоухание земли, его матери, и прохладное, сладкое дыхание колыхавшейся травы могли проникнуть в самое его существо. Как восхитительно было лежать в той густой зеленой траве, среди ясных передвигавшихся теней; лежать и думать о том, что подсказывало сияние солнца!

Иногда он смотрел в сторону своих сотоварищей, до сих пор увлеченных игрой в крикет. Он был доволен просто наблюдать за ними, смотреть лениво и сонно сквозь полусмеженные ресницы, время от времени прослеживая взглядом стремительную параболу мяча в воздухе.

И во всем он ощущал, хотя неясно, присутствие и влияние Гарольда Брокльхорста. Не было ли его редкостно тонкое чувство жизни связано с красотой их дружбы? Не эта ли дружба помогала ему осознать таинство и очарование природы, понимать вещи, видеть? Некая сила влияла на его более простое существо, на его дух и разум, меняла все вокруг, открывая новую красоту в знакомых вещах, являя глубинную и таинственную прелесть там, где прежде он получал только некоторое впечатление от поверхности. Эта сила вызывала к жизни множество воспоминаний странно знакомого языческого мира, более свежего и молодого, пробуждала поэзию, одухотворяла солнце и растения, возвращала Аполлона и Диониса – сильных, красивых, быстрых... Тот мальчик – что общего он имел с ними? Почему он напоминал о них?.. А сквозь ликование слышался неумолчный обертон чего-то темного, неизбежного, почти трагического. Снова легенда о Дионисе! – однако более трогательная, человеческая, волнующая и завораживающая.

Он раскрыл тома «Федра», который прорабатывал с отцом, и начал читать. Вместе они изучили большую часть диалогов и всю «Республику», но «Федр» нравился Грэхаму больше всего. На тех страницах он впервые встретился с философией, которая, по его мнению, была близка к поэзии, была пронизана ею.

«Поистине, Федр, ты самый восхитительный вожатый». Возможно, она в самом деле была поэзией – глубокой и страстной поэзией, в которой сам Платон и даже деревья и ручьи – все приятные вещи видимого мира – принимали участие, словно обладая живыми и действенными душами. Мальчик чувствовал, что они были удивительным образом причастны к развитию его собственной души. Казалось, они дышали в пространстве света, чистоты и счастья. В философии Платона (насколько он мог ее понимать) было совсем мало того, что он не мог принять. Так, в один знойный, тихий день внезапный порыв ветра вдруг пробудил в нем воспоминание о предыдущем существовании – пробудил слабо, неясно, но достаточно, чтобы это оставило след в его душе.

Из всех писателей этот старый грек был для него самым чарующим. Когда он читал его труды, ему казалось, что особенная красота его природы мягко веяла со страниц, как если бы он недавно обрызгал их духами, а теперь, перелистывая книгу, ощущал призрачную тень прежнего благоухания.

Конечно, никакие книги не были столь прекрасны и сладостны, столь мудры и справедливы. В их завораживающем свете забывались более грубые явления, пространство прояснялось, а душа пребывала в покойствии. Он не знал других писаний, которые с таким же мягким обаянием воздействовали бы на него,

преисполняя его любовью ко всему прекрасному и хорошему, смачивая его «правильные перья». Никакие другие писания не оказывали такого очеловечивающего влияния на личность. Те книги были поистине философией жизни, которую возможно вести здесь, на земле, а позднее на небесах. Кроме того, они являлись также (непременно!) философией любви и красоты. Из всех земных вещей красота больше всего приближалась к вечной идее. Красота и – любовь. Все стремление к добру и счастью и, возможно, даже сама философия были благословенным даром любви. От нее начинался путь – платоновская лестница, поднимавшаяся от земли до небес: ведь только благодаря прелести златовласого Федра можно было достичь тех чистых, прозрачных краев, сияющего мира идей.

Такая доктрина соответствовала многим устремлениям его духа и, естественно, пробуждала в нем расположение к автору – ту привязанность, которую мы питаем к тому, кто разделяет наше мнение, чувствует ту же радость или скорбь. Как маленький мальчик задерживается возле озерца морского воды и, вглядываясь в крошечные пещерки, ищет среди морских водорослей неизвестные заманчивые вещи и сокровища, так и Грэхам задерживался над этими страницами, стараясь понять на них все и найти для себя правило, по которому следует жить. Он склонялся над темным

спокойным озером Жизни, и сквозь глубокую, холодную воду, покрытую мелкой рябью от теплого дыхания юности, являлся лик самой Любви, с летящими назад, как пламя, волосами и с печальными серыми глазами, полными бесконечного сострадания.

И он начинал мечтать о бессмертной любви, которая, хотя и неспособна полностью осуществиться в этом мире, могла бы оказаться достаточно сильна, чтобы соединить две души после смерти, в далеких небесах. Далеких!.. Но именно теперь они казались совсем рядом, были здесь – мягким сиянием в его душе, теплым воздухом, что овеивал его лицо, солнечным светом; они присутствовали в деревьях и в голосах его товарищей. Однако только позднее настанет то нетревожимое и совершенное единение, которое сейчас витало перед ним, как недостижимый идеал, как свет за облаками, как пламя на горизонте, «ибо тогда – и не ранее – душа отделится от тела и будет существовать сама по себе».

Теории Платона ударили, как прохладный ветер, на пыль разума. Они легко входили в него, проникая в глубины духа, чтобы оставаться там светом, чтобы петь там, как поют утренние звезды.

И они были так тесно связаны с обычным существованием, с повседневными делами! Из своего идеального пространства они протягивали дружескую руку, которую он мог бы взять,

с трудом пробираясь по грязным дорогам мира. Но более всего он был очарован теорией естественного внушения – того влияния, которое прекрасные вещи оказывают в детстве и отрочестве на образование личности. Расположение облаков на закате, шум струящейся воды: эти и другие, подобные явления мягко воздействовали на разум и душу, придавая им более красивые краски и более тонкие очертания. Внешняя красота является тем, что человек проходит, хотя это и нижайшая ступень платоновской лестницы. Выше располагаются прекрасные души, затем – добродетели и, наконец, чистая идея самой Красоты, невидимая чувству, но открытая зрению разума, великолепная картина, которую увидят те, кто очистил свою душу от земных страстей: «Блаженны чистые сердцем, ибо они узрят Бога».

Закончив читать короткое вступление, он закрыл книгу и положил рядом на траву. Ничто из прочитанного прежде, думалось ему, не производило более живого впечатления, не создавало звучания и благоухания внешней жизни. В каждом слове присутствовало изысканное внушение природы, открытого воздуха, деревьев, зеленой травы и прохладного мелкого ручья, вдоль которого прогуливались Сократ и Федр. Духи, посещавшие берег под платаном, теперь пребывали на страницах диалога. И в самом деле, как по мановению волшебной палочки, ильм над ним вдруг преврат-

ился в платан. Он даже слышал журчание ручья и стрекот кузнечиков. И – Федр с Сократом! Да, они продолжали беседу. Если бы он послушал внимательно, то смог бы различить их голоса, даже слова. А если бы закрыл глаза, то увидел бы их.

«О, милостивый Пан и все вы, другие боги, посещающие эти места, преисполните мою душу красотой, и пусть внешний и внутренний человек будут одно. Пусть я буду мудр, чтобы быть богатым, и пусть у меня будет такое количество золота, которое может нести умеренный человек. – Федр, нужно ли нам что-нибудь еще? – Думаю, что молитвы достаточно для меня».

Звуки вокруг него отдалялись все больше и больше, словно тая в краю грез. В небе длился ясный бледно-зеленый свет, как отражение некоего глубокого озера. Весь мир изменился, и он, казалось, блуждал в краю тихих ручьев и лугов, и трава была весела от желтых даффо-дилей.

Солнце опустилось еще ниже, освещая верхние окна школы. Была ли его мечта менее реальной, чем тот мягкий свет, спрашивал он себя. Не снизошло ли то и другое откуда-то из-за облаков? Это объясняло столь многое и отдаляло горизонт. Платон верил в это. И могло ли быть так, что некоторые люди – такие, как Платон, как он сам – были ближе к незримо-

му, чем остальные? Конечно. Ведь вещи являлись ему с благоуханием цветов, со вздохами ветра, с плеском моря! Был некий дух, веявший на него из шелестящих деревьев и из травы под его ногами.

VII

Когда начались летние каникулы, он привез своего товарища к себе домой. Разгоряченные и пыльные с дороги и после долгой езды со станции, они были чрезвычайно рады увидеть вдалеке дом Грэхама. А когда солнце, окрашивавшее буки мягким красноватым золотом, осветило верхние окна, у юного гостя возникло ощущение особой мирной красоты, какой он никогда прежде не видел. Дом, полный спокойствия и очарования, стоял за деревьями посреди террасированного сада, и все казалось ему (и было в самом деле) отрезанным от внешнего мира – по крайней мере, от того, что знал он: лондонская жизнь, поспешное существование, в которое он окунался, возвращаясь домой на выходные.

Грэхаму тоже было очень приятно опять оказаться здесь. Ужинали они в большой столовой с дубовой мебелью. Закатный свет пересекал стол, выявляя белизну скатерти, глубокий малиновый цвет роз, полускрытых в темно-зеленых листьях, мерцание стекла и старого серебра и делая затененные свечи только орнаментальными. На темной деревянной сте-

не висело несколько голландских «жанровых» картин: «Интерьер» Питера де Хоха, «Урок музыки» Герарда Терборха, «Зимняя сцена» Адриана ван де Вельде и «Портрет» Герарда Доу. Однако ни одна из картин, думал Грэхам, не была даже отчасти столь же прелестной, как молоденький мальчик, сидевший напротив него. Приглушенный свет озарял его красивое лицо и деликатные руки. Грэхам наблюдал за ним с любопытным чувством гордости. Он обращал внимание на его восхитительную вежливость, прекрасное воспитание, удивительное своеобразие. Да, происхождение и кровь много значат! За недолгое время пребывания в школе он успел что-то узнать о безнадежности и вульгарности распространявшейся демократии. И он с удовольствием отмечал, что отцу понравился этот мальчик, что он не остался равнодушен к почтительной манере Гарольда, к его старанию понравиться и к его непринужденной грации.

После ужина мальчики опять вышли на улицу, однако не ушли дальше крыльца. Оба были немного утомлены. Брокльхорст сел на ступеньку, а Грэхам устроился полулежа ниже него и чертил палкой причудливые фигуры и линии на дорожке. Их окружало спокойствие вечера, совершенного окончания дня. Они молчали, погруженные в ту странную тишину, которая, кажется, слушает легкие шаги приближающегося часа, полного тайны, надежды

и неизвестности.

Перед ними расстилалась лужайка, ровная и сероватая в гаснущем свете. Над ее подстриженной поверхностью кусты барбариса, лавра и рододендрона выделялись как более темные формы, несколько жестковатые в почти безветренном пространстве. Деревья аллеи замерли на фоне ясного бледного неба.

– Как близко то облако! – произнес Грэхам. – Не кажется ли, что мы сами плывем к нему?

Несмотря на мечтательное настроение, его чувства были удивительно чуткими, и он улавливал те отдаленные звуки и слабые ароматы, которых не ощутил бы в другое время. Он обратил внимание на руки Брокльхорста, покоившиеся на ступени. Он отметил тонкость кожи, потемневшей на солнце до золотисто-коричневого, тонкие пальцы, крошечную голубую жилку, едва различимую на внутренней стороне запястья. Его руки были необычайно живыми, чувствительными, выразительными. Они были созданы для того, чтобы касаться струн музыкальных инструментов, играть на лютне или арфе. Ему подумалось, что они обладают особой силой утишать боль, и представил их, прохладные и успокаивающие, мягко лежащими на его лбу или на губах и глазах. – Здесь так спокойно, – внезапно нарушил молчание Гарольд. – Каким же странным после этого должно было все показаться тебе, когда ты впервые пришел в школу!

Грэхам лениво улыбнулся. Он чувствовал себя совершенно счастливым, как будто день, которого он долго ждал, начал рассветать в его душе, как будто сейчас был особый час жизни. И это чувство смешивалось со всем прежним счастьем, которое он когда-либо испытывал. Он наблюдал за темными листьями, едва заметно подрагивавшими на фоне неба, за смутной травой и за сгущавшимися сумерками. Вечерний ветер слабо овеивал его лицо.

Свет становился все тусклее и тусклее, а очертания более расплывчатыми.

– Не могу выразить, как я рад, что ты здесь, Гарольд, – застенчиво прошептал Грэхам.

– Это было очень любезно со стороны твоего отца пригласить меня.

– Пригласить!.. Но ведь все это принадлежит тебе! Это так долго ожидало тебя, и теперь, наконец, ты приехал.

Он говорил полуплутиливо, но все его давние грезы волновались в его душе.

– Становится так темно!

Последнее мерцание сумерек погасло в небе, и только неясная бледность продолжала окрашивать воздух, как слабое отражение невидимой луны.

– Послушай!

– Это мой отец. Он играет для себя каждый вечер. Он очень любит музыку.

Мягкие, ясные звуки скрипки медленно лились сквозь покой. Темнота и очарование

ночи делали их удивительно выразительными, и Брокльхорст затаил дыхание, прислушиваясь. Когда наступила тишина, он слегка вздохнул.

– Почему прекрасная музыка всегда такая печальная? – спросил он. – Настолько печальнее всего остального...

– Разве? – отозвался Грэхам. – Но она тебе нравится!

– Да, и нет больше ничего, что нравилось бы мне так сильно. Прежде я пел в хоре, пока не изменился голос, однако научился немногому.

Грэхам привстал и, положив подбородок на плечо друга, посмотрел в темноту. Щекой он чувствовал теплую и нежную щеку Брокльхорста.

– Ты пошел в школу, когда был еще совсем маленьким, не так ли, Гарольд? – проговорил он.

– Не младше, чем другие. Ты пришел особенно поздно.

– Отцу нравилось, что я живу здесь. Я не провел в школе еще и года, но прошлое кажется таким далеким... Я могу взглянуть на него так, как если бы оно было только одним часом. Все сходится в одной золотой точке. Интересно, когда человек умирает, он видит так же? Так же, оглядываясь назад, он видит всю свою жизнь сосредоточившейся в один долгий-долгий день, и все представляется только летним днем – вчерашним днем между рассветом и закатом...

VIII

По мере того, как он греб, знакомые черты местности становились все меньше, панорама расширялась, а дома, рассеянные там и сям, сближались. За ними, в ярко-синем небе, вздымался шпиль колокольни, как тонкая игла.

Взгляд Брокльхорста остановился на лице Грэхама, но тот как будто не осознавал этого. Его темно-серые глаза смотрели в одну точку вдаль.

Наконец, он втащил весла. Какой далекой казалась земля! Кругом простиралось только море – без единого паруса, от одного мира до другого.

Он откинулся на корме и на некоторое время словно погрузился в одну из тех грез, что были так хорошо знакомы его товарищу. Брокльхорст начал что-то бормотать самому себе, плеща рукою в воде.

– Что? Что ты говоришь? – Заслышав голос друга, донесшийся сквозь приятность грез, Грэхам приподнялся. Брокльхорст улыбнулся: – Ничего, совсем ничего. Я всего лишь разговариваю сам с собой.

Грэхам смотрел на него.

– Не кажется ли тебе, что мы находимся очень далеко от мира, Гарольд? Никогда мы не будем вместе в большем уединении, чем сейчас. Я едва помню, как мы сюда добрались... Думаешь, мы когда-нибудь вернемся?

– Наверное, в море вокруг Ирландии тоже можно встретить корабли, как в море Древнего Моряка.

– И как в том море, по которому плавал Одиссей... Конечно, теперь почти все места посещаемы. А если бы мы проплыли немного дальше, то достигли бы острова Цирцеи, или земли поедателей лотоса, или родины Наузикаа.

В то время, пока он говорил, они, казалось, дрейфовали в более спокойное пространство. Или то было всего лишь его фантазией? Мысли приходили к нему как будто откуда-то издалека, а слабый плеск воды о лодку напоминал ему о его грезе.

– Прошлой ночью я вернулся туда, Гарольд, я нашел прежний путь. Могу ли я сказать тебе об этом? Ты помнишь странную мечту, заполнявшую большую часть моей жизни здесь... Думаю, это начинает открываться снова.

– Ты имеешь в виду мальчика, которого обычно представлял каким-то образом связанным со мной?

Грэхам встретился с его взглядом.

– А ты уверен, что он не связан? – тихо спросил он. – Ты должен сказать мне это, так как сейчас я сам почему-то не уверен.

– Что же изменилось? Ты ведь был достаточно уверен. Помнишь тот день, когда я нашел тебя в полях?

– День, когда ты пришел ко мне? Ты пришел, когда я звал.

– Ну, ты был очень уверен тогда, не правда ли? – и он тихо засмеялся, видя трудную задумчивость друга.

– Это было началом, – пробормотал Грэхам. – Знаешь, с того дня до прошлой ночи мне ни разу не снились ни ты, ни то место, где я обычно находил тебя. Ни разу до прошлой ночи.

– А прошлой ночью снились?

Грэхам взглянул на товарища.

– Все вернулось, – просто ответил он. – Ты был там, как до моего поступления в школу, но – изменившийся, немного изменившийся... – он постарался припомнить. – Не могу точно сказать, в чем заключалось отличие, – медленно проговорил он в раздумье и замолчал, пытаясь понять, каким было изменение. – Но почему ты вернулся? Я имею в виду, после столь долгого отсутствия... Почему, если ты шел, то не пришел быстрее?

– Ах, я не могу сказать тебе, – улыбнулся Брокльхорст. – Если бы спросил меня прошлой ночью!..

– Ты ответил бы? Ты действительно ответил, но я не помню, что. Все стало очень смутным. Наверное, твое присутствие здесь, со мной, устраняет другого.

– Может быть, мое возвращение должно было сказать тебе о чем-нибудь?

Особое, несколько озадаченное выражение появилось на лице Грэхама.

– Я почти что вспомнил, но это опять ушло от меня, – он вздохнул. – Наверное, я никогда этого не узнаю.

– Что ж, я не могу помогать тебе дальше, – Брокльхорст наблюдал за ним с некоторым удовольствием.

– Не можешь, – Грэхам опять вздохнул, а потом посмотрел на товарища:

– Как только я уснул, то увидел его – своего мальчика из грезы. Я будто проснулся на берегу моря, у самых врат его сада. И я слышал, как он звал меня... Звал, звал... О, я так хорошо помню его голос! Я открыл ворота, и он был там.

Грэхам замолчал на мгновение, и его взгляд потемнел от странной тени. И как будто сквозь эту тень доносились его последующие слова, а голос становился все тише и тише, пока, наконец, не превратился в шепот:

– Кто он, что он, действительно ли он твой дух, или ты только напоминаешь мне его, – этого я, наверное, не узнаю. Иногда я думаю, что он родился вместе со мной и рос вместе с моей душой. До тех пор пока я не пошел в школу, он был моим единственным сотоварищем. Когда я был маленьким, я представлял, что он в саду вместе со мной, и я искал его то

здесь, то там, как если бы он прятался от меня в какой-то игре. Помню, по ночам, когда я лежал в постели, я думал о том, где он сейчас и будет ли ждать меня, когда я проснусь в его краю. И он всегда ждал, стоял там терпеливо и улыбался, готовый приветствовать меня. Иногда я даже раньше ложился, чтобы узнать, могу ли оказаться там раньше него, но этого мне никогда не удавалось: вероятно, он жил там... А прошлой ночью (не знаю, почему) случилось то же. Все было, как раньше. Это довольно странно, потому что в последнее время все стало немного туманнее, дальше, слабее, стало казаться даже призрачным, когда я пытался вызвать это в памяти. Помню, он привел меня на берег озера, и я, посмотрев в воду, увидел там отражение своей комнаты и мальчика, спавшего в постели, — себя...

Он замолчал, чуть улыбаясь. Отсвет воспоминания озарял его лицо. Брокльхорст с любопытством наблюдал за ним.

— Иногда, — продолжал Грэхам, — иногда ветер, если он не очень сильный, навевает звуки его голоса. И его голос похож на твой, Гарольд... Помню, однажды в школе я сидел в полудреме перед камином, как вдруг мне показалось, что он подошел совсем близко ко мне и склонился через спинку моего стула. Я закрыл глаза и почувствовал, как его мягкие волосы коснулись моей щеки. Я ждал... О, как я был счастлив! Внезапно отворилась дверь, и

вошел ты. Заговорив со мной, ты склонился ко мне точно так же.

– Ты заставляешь меня сильно ревновать, – произнес Гарольд с напускной серьезностью. – Должно быть, он нравится тебе больше, чем я. – Здесь нет никакой разницы, только... – Грэхам остановился, заметив, что Брокльхорст смеется.

– Ну, и что же ты собирался сказать?

Грэхам слегка покраснел.

– Давай поменяемся местами, – предложил он. – Ты можешь грести назад.

Брокльхорст повиновался, не сводя глаз с Грэхама.

– Так в чем же различие? – настаивал он. – Что ты собирался сказать?

– Ничего, ничего, – Грэхам ответил почти в смущении. – Различие только в его поведении.

– Предполагаю, что он просто милее!

– Нет, это не означает ничего подобного.

– Но это должно что-то означать. Если не это, почему ты боишься сказать?

– Я не боюсь... Это означает, что я... что я нравлюсь ему, – Грэхам пристально смотрел в воду. Взгляд Брокльхорста, устремленный на него, стал немного странным. Он собрался было что-то сказать, но передумал, опустил весла и начал грести назад.

После продолжительного молчания Брокльхорст мягко спросил:

– Куда мы теперь отправимся?

Лодка плыла к темным голым скалам, вздымавшимся из ясной воды.

– Немного левее есть место, где мы, наверное, сможем причалить, если хочешь искупаться.

Брокльхорст провел лодку к указанному месту, и они выбрались на широкий плоский выступ скалы. Там они быстро привязали лодку и некоторое время сидели на краю выступа, болтая ногами.

Солнечный свет делал воду прозрачной и искушающей. Сквозь спокойное пространство плыл бой часов с колокольни. Отовсюду доносился соленый, бодрящий запах водорослей, только что принесенных отливом, и их длинные стебли, золотисто-коричневые и травянисто-зеленые под солнцем, покачивались на волнах. Немного ниже виднелись пятна более ярких красок – розового, красного и оранжевого, как изящный перистый коралл.

– Это место и погода достаточно хороши для Пана, – проговорил Грэхам. – А в следующем месяце все кончится, и мы вернемся в школу. Интересно, будет ли все это когда-нибудь столь же приятным?

После купания они сидели на скале, не жась в солнечных лучах.

– Какие коричневые у тебя руки, лицо и шея! – произнес Грэхам лениво. – Все остальное кажется таким белым... Интересно, создавали ли греки статую ныряльщика? Я не пом-

ню ни одной.

Вдруг его осенила какая-то мысль, и он вскочил на ноги. Его сонливость исчезла.

– Подожди-ка! – воскликнул он. – Стой там. Повернись немного. Облокотись о скалу, возьми в руки немного водорослей, скрести ноги – вот так... О, если бы у тебя были заостренные уши или хвостик!.. Фавн! Настоящий фавн! Молодой лесной фавн! – говорил Грэхам с восторгом. А после добавил:

– Ты гораздо милее, чем статуя, – и Брокльхорст взглянул на него с некоторым удивлением.

Потом, заставив его сесть, Грэхам придал ему положение Спинарио, своего давнего любимца; затем, еще раз попросив встать, велел ему принять позу молящегося мальчика из Берлинского Музея, Адоранте, с руками и лицом обращенными к радости утра.

– Что же еще? – пробормотал Грэхам. – Для атлета ты очень молод, а твое тело слишком стройное. Сделаю-ка я из тебя юного Диониса! Разреши положить эти водоросли тебе на голову. Это венок из виноградной лозы.

Он расположил Брокльхорста так, чтобы тот склонялся на черную гладкую скалу, и мягкие, плавные линии тела мальчика выявились с необычайной красотой на темном фоне. Грэхам помедлил мгновение, а затем, отступив и прикрыв глаза рукою от солнца, пристально посмотрел на свою работу. Легкий ру-

мянец окрасил его щеки. Он опять приблизился. Очень мягко опустил он волнистые каштановые волосы мальчика на его лоб и чуть ниже вдоль щеки, придавая его лицу более женственный овал – как у «Вакха» Леонардо. Потом слегка склонил его голову набок и чуткими пальцами прикрыл веки его ясных темно-синих глаз так, что длинные изогнутые ресницы отбросили тень на щеки. Нежнейшими касаниями он разъединил его губы, придав им выражение странной мечтательной улыбки. Осторожность собственных движений поразила его, а румянец на его щеках становился ярче по мере того, как ему все больше открывалась красота мальчика, преисполняя его необычайным удовольствием. Он засмеялся.

– Ты подобен юному богу! – воскликнул он. – Может быть, ты являешься им на самом деле? И, возможно, если мы будем здесь дольше, то призовем и других с небес.

– Не этого ли тебе и хотелось бы? Полагаю, что в глубине души ты до сих пор веришь в них!

– Ах, как я могу верить в них, когда живое божество стоит передо мной? Приветствую тебя, благословенный Дионис, сын огня, росы и волнующего нектара! Не следует ли нам совершить жертвоприношение, Гарольд? Правда, у меня нет ничего, кроме этих сухих водорослей, которые я собрал на скале, но богам нравится не сам дар, а то, что в сердце дающе-

го. Давай преподнесем этот небольшой венок божеству этого места!

Он опустился на колени и положил на маленький выступ скалы те немногие морские гвоздики и водоросли, которыми украшал своего друга.

– Это алтарь, – сказал он с улыбкой, но довольно серьезно. Затем он взял Брокльхорста за руку, чтобы тот преклонился рядом с ним.

– Какому божеству я должен преподнести их? – прошептал Грэхам. – Теперь у них так мало почитателей, что они могут ревновать друг к другу. Нам не хотелось бы, чтобы волны поднялись на нас, как некогда на Ипполита.

– Преподнеси их неизвестному Богу.

– Ш-ш! Они могут услышать тебя. Должно быть, они где-то рядом. О, боги Эллады, если что-нибудь в наших жизнях достойно вызвать ваше благоволение, примите этот дар, который, хотя и скромн, дается с любовью. И мы просим, чтобы вы даровали каждому из нас то, что может быть наилучшим для него. Гарольд, «нужно ли нам что-нибудь еще? Душаю, молитвы достаточно для меня».

IX

Он не знал, как это случилось. Это произошло так неожиданно. Так неожиданно... Теперь он медленно шел к дому в нескольких шагах позади остальных. Он испытывал ощущение болезненности и ужаса – мутившую разум беспомощную подавленность, причину которой он боялся осознать. Он только помнил (не мог не помнить: это живо стояло перед его глазами) свет послеполуденного солнца на длинной белой дороге, яркое сияние, зной, и что-то темное и неподвижное, распростертое в пыли – тихо, очень тихо...

Брокльхорст шел немного позади него, по обочине. Он собирал полевые цветы. Некоторые из них были рассыпаны вокруг него, когда он лежал там на дороге – такой странно неподвижный и белый, и тонкая струйка алой крови текла сквозь его волосы и, расширяясь, образовывала небольшую лужицу грязи. Когда он поднял его, каким необычайно бледным было его лицо!..

Он чудом избежал столкновения. Ни одно из колес не задело его: был только легкий удар повыше левого уха...

Они медленно шли, Брокльхорст по обочи-

не, и он, Грэхам, посередине дороги, когда из-за поворота вырвались перепуганные лошади, таща неистово раскачивавшуюся повозку, с оборванным и бесполезным поводьем. Он помнил, как отскочил в сторону. Поскользнувшись на чем-то, он упал. Пыль, шум, колесо, почти задевшее его одежду, когда он откатывался прочь... Теперь он знал, что Брокльхорст прыгнул к головам лошадей, дав ему дополнительное мгновение.

Все было кончено. Их долгий день в лодке и на скалах, их небольшое действо языческого поклонения: все это было только этим днем, и все было кончено. Он медленно шел, в нескольких шагах позади остальных, по аллее к дому.

Х

Наконец – ночь. Все ушли, все устроено, в доме тихо и торжественно. Отец оставил его побыть наедине с мертвым мальчиком. Наконец-то!..

Горе, которое он не показывал перед чужими, больше не нужно было скрывать. Не было никого, кто мог бы увидеть его или услышать. Он опустился на колени возле постели и гладил нежную холодную щеку, и целовал охладевшие губы, и ласкал мягкие темные волосы, с которых были смыты все пятна, и обнимал тело, и вспоминал этого мальчика стоявшим перед ним в тот день во всей своей удивительной красоте... Слезы струились по его щекам, ослепляя его: он почти задыхался от рыданий.

XI

День проходил за днем. Брокльхорст был похоронен на сельском кладбище при церкви, его отец и один из братьев (те родственники, что приезжали) возвратились домой, ставни были открыты, спокойное течение жизни, столь неожиданно потревоженное, вернулось в прежнее русло. Только для одного мальчика навсегда померк свет в небе, а из мира навсегда исчезли те великолепие и красота, которые он когда-то знал.

Целыми днями он искал уединения, старался избегать отца и всякий раз, как появлялась возможность, укрывался в своей комнате или в каком-нибудь уединенном месте на улице. Он как будто боялся присутствия других людей и звуков собственного голоса. Им овладело странное нежелание упоминать имя Гарольда и любым образом подразумевать его, хотя он проводил все больше и больше времени на могиле мальчика, оставаясь там часами, пока отец, знавший об этих посещениях, не забеспокоился о его здоровье. Он решил увезти его прочь и предлагал посетить Францию, Италию, Грецию – что угодно, но Грэхам с таким отчаянием попросил оставить

его там, где он был, что мистер Иддеслей не мог отказать ему, несмотря на опасение, что это принесет скорее вред, чем пользу.

Стоит ли удивляться, что здоровье мальчика стало ухудшаться и он выглядел бледным и утомленным. Каникулы заканчивались, но ни слова не было сказано о возвращении в школу. Грэхам жил в тайном страхе перед тем, чего нельзя было долее откладывать, но как он мог вернуться к прежней жизни? Он чувствовал, что не сможет вынести мысли о том, что было и не повторится, не сможет вынести беспросветности, одиночества, безнадежности. Конечно, когда он пришел в школу, он тоже был одинок, но разница была неизмерима. Иногда ему казалось, что было бы лучше, если бы он не знал того счастья, которого так скоро лишился. И иногда он думал (понимая невозможность этого), что было бы хорошо стереть прошлое из памяти, как детский рисунок мелом.

Однажды днем он сидел с отцом в библиотеке. Большую часть дня шел дождь, и мелкая морось все еще продолжала сеять, но небо начало проясняться. Тихий капающий звук дождя и вид затуманенного ландшафта оказывали на него успокаивающее воздействие. На его коленях лежала раскрытая книга, над которой он низко склонился. Вялость, умственная и телесная, сквозила в каждом его движении, да-

же в самой позе; а между ним и страницей, на которую он смотрел, витал образ погибшего мальчика. Его подавляла телесная слабость – своего рода застой всех источников жизни, всех жизненных элементов, – слабость, истощавшая его силы, чтобы подняться над сосредоточенным, мрачным ходом мысли. Казалось, некий родник был заглушен в нем и иссяк. Все кончено, кончено, кончено! Слово утомительно повторялось в его разуме, как однообразный бой метронома. Его лихорадило, а в затылке ощущалась тупая боль, как будто он чем-то заболел.

Измученный, ибо его сон стал беспокойным и прерывистым, теперь он впал в некую дремоту, от которой очнулся через несколько минут, чтобы увидеть, что отец с тревогой смотрит на него. С внезапным раскаянием он понял, что не следовало проявлять свое горе.

– Ты очень устал? – мягко спросил мистер Иддеслей. – Иди сюда и сядь рядом со мной, – он повлек сына к себе. Грэхам присел на скамью возле его ног.

– Что ты делал все это утро? Ты был на кладбище?

Грэхам кивнул. Мистер Иддеслей положил руку на голову мальчика.

– Ты ходишь туда так часто! – сказал он. – Это нехорошо для тебя, Грэхам. О чем ты думаешь, когда ходишь туда один? Зачем ты туда ходишь?

Грэхам не решался отвечать. Он сидел, обхватив колени руками, и пристально смотрел в окно. Дождь уже прекратился, и бледное солнце проглядывало сквозь тяжелые тучи. Некоторое время он молчал. Знакомая обстановка пробуждала воспоминания. Как часто они с отцом сидели так же, как сейчас, в той же самой комнате! Ему казалось, что его жизнь шла по кругу и теперь возвращалась в русло, которое он знал. Ненадолго словно крылья некоего духа овеяли его. «Как похоже на молнию...» Его глаза наполнились слезами, и нагнулся, пряча лицо.

– В чем дело? – спросил мистер Иддеслей, но не получил ответа. – Скажи мне, Грэхам, ты думаешь о Гарольде?

– Тебя удивляет, что я никогда не говорю о нем?

– Это слишком живо? Но ведь молчание заставляет тебя размышлять еще больше.

– Я не могу не думать о нем, – прошептал Грэхам. – Он подарил мне свою жизнь.

Он поднялся и, подойдя к окну, уткнулся лбом в холодное стекло. Капли дождя все еще падали с деревьев, воздух был наполнен запахом влаги, но небо прояснялось, и солнце становилось все ярче. Ничего не говоря, мальчик вышел из комнаты.

XII

Некоторое время он медлил возле дома, беспокойно и потерянно, а затем медленно направился вниз к скалам и там остановился, глядя в море.

Тучи, сгрудившиеся на горизонте, как огромные пурпурно-черные горы, едва заметно перемещались с востока на запад по бледному, цвета голубого сланца, небу. В разрывах этих изломанных груд сияли небеса бездонными озерами чистого бледного света, и каждое было очерчено яркой травянисто-зеленой каймой. Казалось, весь свет дня сосредоточился там, и Грэхам, пристально глядя туда, спрашивал себя, будет ли он когда-нибудь ближе к тем краям, чем сейчас. В «Федре» он нашел много доказательств бессмертия души, но только позднее понял это сам, и то было не доказательство вовсе, а простое человеческое желание взглянуть в лицо друга – в лицо того, кто был погребен в могиле.

Он шагнул вперед и, склонившись над медленно двигавшейся темной, холодной водой, казавшейся почти черной у скал, стал наблюдать, как она раз за разом вздымалась и опускалась. Он склонялся все ниже и ниже,

пока его волосы едва не коснулись поверхности.

О, вода, бегущая, как дни,
Ко мне ты шепчешь через сумрак сна;
Он – видеть может ли тебя, как я?
И льется в холодный сей родник
Печальная вода, вода глубин глубин иных –
Слез сокровенная волна...

Он прошел немного дальше, карабкаясь по скалам, а затем направился полузаросшей тропой, которая привела его к церкви. Там, как обычно, никого не было, и он открыл ворота. Он шел по мягкой траве до тех пор, пока не добрался до могилы Брокльхорста. Там он опустился на колени.

Издали доносился шум моря, однообразный и мирный. Не были ли они самыми счастливыми – те, кто спал здесь, увлекаемый этой смутной музыкой все дальше и дальше от мира? Бесконечная печаль омрачила лицо мальчика – печаль, что происходила не только от его недавнего горя, но также от сострадания ко всем вынужденным претерпевать муки жизни. Сострадания, прежде всего, к молоденькому мальчику, который ныне лежал под тяжелой землей, а некогда был столь весел и оживлен на ней. Ему было странно думать о нем как о мертвом, оказавшемся вне этого существования. Не был ли он даже в том неяс-

ном мире теней, куда он ушел, все еще соз-
нающим, чувствующим? Не мог ли он все еще
испытывать какое-нибудь слабое чувство, ка-
кое-нибудь легкое движение подавленной ра-
дости или горя? Не билось ли его сердце до
сих пор тихо под травой? Он распростерся на
могиле и замер. Они лежали лицом к лицу, и
только немного земли разделяло их. И ка-
залось, он слышал далеко внизу едва различимое
дыхание, слышал, как медленно и печаль-
но текли слезы мальчика, падая и падая без
конца. Он мог слышать, как бьется его собст-
венное сердце – бьется жизнью, что медленно
уходила из него широким, ясным пламенем
лампы, быстро выгоравшей в ночь.

Солнце уже село, когда он собрался вер-
нуться домой. Проходя мимо дверей церкви,
он заметил, что они приоткрыты, и вошел. На
крыльце были оставлены ведро с водой и мет-
ла, однако в самой церкви никого не было.

Он присел на одну из скамей, затем пре-
клонил колени и закрыл лицо руками. Он ис-
пытывал сильное желание молиться. Но кому?
Настал ли, наконец, час неизвестного Бога?
Несколько слов всплыли в его памяти, повто-
ряясь вновь и вновь, как отголосок давнего на-
пева или стихотворной строки: «Дети, любите
друг друга...» Казалось, кто-то склонился над
ним, мягко поцеловал его и положил забот-
ливую руку на его голову.

И чувство невыразимого мира начало охва-

тивать его. Мог ли он в самом деле быть ближе к невидимому миру, чем остальные? Во всяком случае, теперь он казался необъяснимым образом совсем близко к нему — ближе, чем когда-либо прежде. Им владело ощущение, что нечто должно произойти, и что это окажется великим, важным, высшим: как если бы ему предстояло сделать поразительное открытие. И он ждал, когда ему будет подан какой-нибудь знак, который, в отличие от предыдущих, должен был прийти извне.

Ненарушимое спокойствие царило в церкви, словно ее окружали глубокие воды. Голос моря больше не долетал. Вскоре, сквозь затишье, послышался легкий шорох, подобный шелесту бесчисленных листьев, который становился все громче и громче, пока не превратился в музыку некоего дивного лета. Грэхам поднял голову. Свет стал удивительно ясным и мягким, в воздухе ощущалось благоухание множества цветов, и где-то журчал фонтан.

Грэхам опустился на колени и замер. Внезапно стены церкви раздвинулись, и в великолепии радужного света он, наконец-то, увидел Гарольда.

Тот стоял в своем саду, еще более прекрасный, чем тогда, когда Грэхам мог созерцать его. Он простирали руки и улыбался. Его ноги выглядели дивно белыми на густой темной траве с россыпью крокусов. Над его головою смыкались ветви деревьев, образуя изящный

свод, тонкую зеленую вязь, сквозь которую лился мягкий и прохладный свет и пение птиц. Этот удивительный струящийся свет окружал его, и откуда-то доносилась мелодия воды – легкая и журчащая, словно вода падала в некий туманный прохладный бассейн, сокрытый зеленью. И надо всем царил покой столь глубокий, ненарушимый и священный, что горе Грэхама истаяло в одно страстное чувство благодарности, любви и мира.

– О, я иду, иду! – проговорил он с рыданием, поднимаясь и делая шаг вперед – порывисто и слепо. На мгновение он остановился, покачиваясь, а затем издал слабый стон и рухнул навзничь.

XIII

Когда он открыл глаза, то обнаружил себя в постели, в своей комнате. Свет был приглушен, в воздухе ощущался слабый запах лекарств, и какая-то фигура бесшумно двигалась вокруг него, что-то приготавливая на небольшом столике. Значит, он был болен!.. Но как давно?

Он услышал легкий шум, будто осторожно отворилась дверь, и увидел, как в комнату на цыпочках вошел его отец. Грэхам не открывал глаз, чтобы никто не знал, что он очнулся. Все начало возвращаться к нему, и ему хотелось сохранить хотя бы ненадолго ту прохладную темноту, что окружала его.

Во всем теле он чувствовал странную вялость и не мог делать ничего, кроме как безвольно лежать в тусклом свете, в сумерках своей души. Через некоторое время можно будет проснуться. Не сейчас – через некоторое время...

И все это было тридцать лет назад. Его отец давно умер. Все умерли.

Рассвет, серый и призрачный, проникал в комнату. Грэхам вздрогнул и огляделся.

Неоконченное письмо лежало на столе. Все казалось холодным, покинутым, безжизненным. Он встал и, ощутив скованность в теле, потянулся. Едва ли стоило теперь ложиться спать. Он подошел к окну и выглянул в начинающийся день. Мир выглядел очень старым и безрадостным. Был ли то холодок приближающейся старости в его крови, подумал он, отчего мир представлялся ему именно таким? Странная неопределенная улыбка появилась на его губах. Тогда лучше сесть к камину и подремать! Он вернулся к столу и, склонившись над ним, закрыл лицо руками.

КОНЕЦ



Форрест Рейд
БОЖЕСТВО САДА

Дизайн и компьютерная верстка – Ольга Кавецкая

Заказ № 18 от 18.07. 2014
Формат 84*108/16. Тираж 28 экз.

Цифровая типография "Принт-Копи"
г. Тверь, пр. Ленина 18/1, офис 11